

## Эхо первого кризиса

Восстание декабристов в контексте глобальных социально-экономических проблем первой половины XIX века

Восстание 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге традиционно принято интерпретировать как первое в России открытое вооруженное выступление против самодержавия и крепостничества и фактическое начало русского освободительного движения. За минувшие годы специалисты из самых разных идейных лагерей весьма глубоко изучили общественно-политическую подоплеку восстания и предшествовавших ему событий и процессов. Достаточно тщательно на сегодняшний день изучено и социально-экономическое развитие России той эпохи[1].

Однако глобальный контекст как российских социально-экономических проблем первой половины XIX века, так и непосредственно движения декабристов достаточно редко попадал в поле зрения историков. Так, наиболее крупной работой, освещающей этот вопрос по существу, до сих пор остается известный курс русской истории М.Н. Покровского. При всей своей тенденциозности главы данного курса, посвященные декабристам и развитию России в первой половине XIX века, в целом наглядно и ярко показывают, что хотя Российская империя начала XIX века, захлестнутая первыми волнами европейской нестабильности в эпоху наполеоновских войн, и сумела отстоять свой политический суверенитет, она, тем не менее, оказалась почти беззащитной как перед глобальной экономической экспансией западноевропейских товаров и капиталов, так и перед лицом западноевропейской информационно-идеологической агрессии.

Перед тем как начать анализ российского кризиса середины 1820-х годов, важно вспомнить, что ряд крайне тяжелых потрясений в первой половине XIX века переживала практически вся континентальная Европа. Достаточно лишь обратить внимание на новый характер военных конфликтов эпохи революционных и наполеоновских войн (когда завоеватель стремится не только подчинить себе некую территорию, но и провести там необратимые социальные преобразования), на число революционных выступлений и их ожесточенность, чтобы утверждать: перед угрозой социального хаоса, утраты государственного суверенитета и даже полного распада (раздела) в период 1789–1850 годов стояли все крупные европейские державы. Пруссия (1807–1812), Австрийская империя (1809, 1848–1849), Франция (1814–1815, 1830, 1848), Испания (1807–1814, 1820–1824, 1834–1843)[2], Португалия (1807–1811, 1820, 1828, 1834–1847), Голландия (1810–1813, 1830), Швеция (1809), Дания (1807), Швейцария (1803, 1847) – фактически ни одна из этих держав не сумела выйти из кризиса, не прибегнув (вольно или невольно) к иностранной помощи, не пережив прямое вмешательство соседей в свои внутренние дела или даже оккупацию.

Оторвав взгляд от Европы, мы можем увидеть, что революционно-кризисная волна конца XVIII – начала XIX века началась не во Франции, а в Америке. Пример становления на базе динамично развивавшихся англосаксонских колоний агрессивного либерального государства как одного из главных конкурентов своей бывшей британской метрополии заразил многие колониальные государства. Трудности несколько иного рода, но тоже весьма тяжелые в эту же эпоху испытывают и традиционные общества таких крупных держав Евразии, как Османская империя, Персия и Китай (а чуть позднее и Япония). Давно уже не претендуя на мировое лидерство, эти страны в течение первой половины столетия начинают утрачивать и свое региональное значение, теряют контроль над собственными крупными провинциями и стратегическими торговыми пунктами (типа Египта, Закавказья или Гонконга). Элита этих стран также постепенно лишается способности мобилизовать внутренние ресурсы для отпора противникам и решения неотложных государственных задач.

Если прибавить сюда именно в это время закипевшую революциями, переворотами и междоусобными войнами (продолжавшимися и после освобождения от колониальной зависимости) Америку и охваченные активной европейской колонизацией остальные районы мировой экономической периферии, то можно предполагать, что устойчивый рост национальной экономики и поступательное эволюционное развитие политических структур и социально-экономических отношений в этот период, остроумно названный британским историком Э. Хобсбаумом «веком революции»[3], скорее, исключение, чем правило.

Вдохновлявшиеся, в частности, примерами современных им испанских, латиноамериканских и греческих революционеров (Риго, Квируги, Боливара и др.) декабристы волей-неволей смотрели на результаты их деятельности с позиции недавних «освободителей Европы», то есть несколько свысока. Они с трудом могли себе представить, что для складывавшегося мирового рынка и его финансовых центров (в первую очередь, лондонского) «экономическая провинция Россия», «экономическая провинция Венесуэла» и даже «экономическая провинция Китай» выглядели почти равнозначно[4]. Традиционные структуры периферийных рынков необходимо было разрушить (неважно, извне или изнутри) для того, чтобы открыть их не только европейским (в первую очередь, английским) товарам, но и международным банкам с их кабальными инвестициями и грабительскими займами. «Отрадно, что самая древняя и самая прочная империя в мире под воздействием тюков ситца английских буржуа за восемь лет очутилась накануне общественного переворота, который во всяком случае должен иметь чрезвычайно важные результаты для цивилизации»[5], – писали в 1850 году по случаю восстания тайпинов в Китае Маркс и Энгельс. Так, национально-освободительный пафос Рылеева, Сен-Мартена или Ян Сю-Цина в конечном итоге оборачивался работой против суверенитета своих стран и народов в пользу нового формирующегося глобального мирового порядка.

Стоит оговориться, что глобальный контекст региональных революционных и национально-освободительных движений, к которым относится и движение декабристов, безусловно, не отменяет местных условий и объективных предпосылок складывания этих движений, формирования мировоззрения их лидеров. Мало кто из них сознательно выступал в роли «агентов глобализации». Более того, можно предположить, что зачастую именно застойные и коррупционные явления в органах официальной государственной власти, поражения во внешних войнах, неспособность правительства подавить сепаратистские выступления или предотвратить захват внутренних рынков иностранцами довольно тяжело переживались мыслящими патриотами стран глобальной экономической периферии, готовыми заплатить любую цену за то, чтобы остановить процессы распада и дезорганизации. Трагедия таких патриотов заключалась в том, что их усилия по революционной модернизации своих стран на деле часто лишь способствовали увеличению их глобальной зависимости[6].

Таким образом, глобальный социально-экономический контекст позволяет не столько пересмотреть общеизвестные трактовки исторических событий, сколько привлечь внимание исследователя к важным «фоновым» обстоятельствам эпохи, обычно остающимся вне поля его зрения. Именно в этой связи кажется особенно важным, к примеру, что как восстание 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, так и многие предшествовавшие события междуцарствия, начавшегося еще 19 ноября, до сих пор практически не рассматриваются в связи с первым системным кризисом мировой экономики в конце 1825 года.

Обстоятельства данного кризиса, вызванного перегревом британского инвестиционного рынка, хорошо описаны в капитальной монографии И. Трахтенберга[7]. Обвал фондового рынка и катастрофическое оскудение золотого запаса Английского банка[8] буквально по дням совпадают с эскалацией напряженности в Санкт-Петербурге. Исследований, посвященных «русскому следу» лондонского

кризиса 1825 года, пока не существует. Между тем Англия первой половины XIX века не только крупнейший торговый партнер Российской империи[9], но и основной ее кредитор. Даже если мы исключим версию намеренного экспорта социально-экономической нестабильности в Петербург из Лондона, такой экспорт не мог не осуществляться стихийно, в рамках естественного перераспределения напряжений в глобальной экономике[10]. Немыслимо, чтобы массовые банкротства британских торговых домов никак не отражались на мышлении и поведении К.Ф. Рылеева и его коллег по Российско-Американской компании или сочувствовавшего декабристам адмирала-англофила Н.С. Мордвинова[11]. Разумеется, большая часть вышедших на Сенатскую площадь офицеров, не говоря уж о солдатах, вряд ли понимала, что начало более или менее длительных революционных беспорядков в столице приведет, прежде всего, к падению оборотов местной торговли и производства и повальному бегству капиталов из страны, но руководители восстания не могли этого не знать.

Знали они и о серьезном расстройстве государственных финансов России[12], вызванном не только опытами министра финансов Д.А. Гурьева с фритредерскими таможенными тарифами 1818–1820 годов[13], но и экономическими последствиями наполеоновских войн, в частности, эхом наполеоновских фальсификаций русских бумажных денег (Министерство финансов изымало из оборота и безвозмездно уничтожало такие фальшивки до конца 1830-х годов). К росту государственного долга вело и продолжающееся падение мировых цен на основной предмет русского вывоза – хлеб. Между прочим, динамика этого падения была предопределена уже в 1815 году, когда английский парламент, видимо, желая «отблагодарить» своего верного союзника по антинаполеоновским коалициям, принял знаменитые «хлебные законы»[14]. Ориентированные на поддержку национального сельхозпроизводства и крупного землевладения, эти законы не только закрыли английский рынок для русского зерна, но и разорили сотни русских поставщиков[15]. Пали и другие доходные прежде статьи русского сырьевого экспорта: лен, пенька, лес и чугун. На смену русскому льну и льняным полотнам Англия все в больших количествах ввозила сначала на свой, а потом и на континентальный рынок индийский, а затем и американский хлопок. Пеньку же, в мировом производстве которой Россия предшествующего столетия была фактически монополистом, постепенно вытесняет индийский, обработанный в Шотландии, джут. Что же касается русского производства чугуна, развивавшегося во второй половине XVIII века так быстро, что его рост обгонял порой даже английские производственные показатели, то вторая волна индустриализации в Европе уже в начале 20-х годов XIX загнала эту перспективную экспортную отрасль отечественной экономики в длительную стагнацию. Экспорт русского леса также постепенно переставал приносить прежнюю прибыль. Мировая металлургическая промышленность, поднимаясь на восточноевропейском древесном угле, с начала XIX века массово переходит на английский кокс[16], а бесхозяйственная экстенсивная разработка русских лесных ресурсов в XVIII веке уже в 1820-х годах приводит к серьезному удорожанию стоимости леса и его транспортировки, что в условиях развития международной конкуренции стран – экспортеров леса равнозначно дальнейшему сокращению русского лесного экспорта и потере традиционных рынков сбыта.

В целом, понижение цен на сырье сократило стоимость русского экспорта в период 1817–1824 годов почти в 12 раз[17]. Это было почти равносильно экономической катастрофе. Ее источником некоторые авторы считают не только последствия стихийных экономических процессов, но и сознательную экономическую политику мировых финансовых центров, направленную против интересов России. Один из богатейших людей России В.А. Кокорев прямо писал о настойчивой финансовой войне Европы против России, в результате которой, по его утверждению, «мы потерпели от европейских злоухищрений и собственного недомыслия полное поражение нашей финансовой силы»[18].

Необходимо отметить, что при этом интерес глобальных финансовых центров к русскому рынку 1820-х годов не ослабевал, а, напротив, продолжал возрастать. Во многом это связано с еще одной

малоизученной проблемой экономического развития России XIX века[19]. Дело в том, что новый способ поиска и промывки так называемых «скрытых россыпей», разработанный в 1810-х годах уральским инженером Л.И. Бруснициным, начиная с 1820 года позволил дать такие темпы прироста золотодобычи, что Россия, в начале XIX века ввозившая золото не только для денежного обращения, но и для технических нужд и дававшая менее 3% мирового объема добычи, уже в середине 1820-х годов перешла рубеж в 20% и вышла на первое место в мире по золотодобыче[20]. Темпы роста кажутся фантастическими. Только за десятилетие 1821–1830 годов они достигли почти 1000%![21] Статистические данные по эту тему можно встретить в самых разных источниках[22]. Однако, когда речь заходит о социально-экономическом, а тем более о политическом аспектах понимания собранной и систематизированной информации о золотодобыче, практически никто почему-то не предлагает своей оценки[23]. Очевидно, что перед нами не только важнейший и практически неучтенный экономический параметр развития России времен декабристов, но и ключ ко многим внутри- и внешнеполитическим проблемам рассматриваемой эпохи[24].

Одновременно страна переживала кризис роста системы управления, связанный как с хроническим недофинансированием увеличивавшегося государственного аппарата (что неминуемо порождало коррупцию), так и с общим усложнением механизма управления государством в условиях распада прежнего сословно-корпоративного устройства общества и нарастающего демографического давления. Формирование международного рынка труда в рамках развития региональной экономической специализации и конкуренции приводило к вытеснению миллионов людей в разных странах на обочину этого рынка, за черту бедности, фактически на грань голодной смерти. Европейский демографический взрыв, к концу первой четверти XIX века достигший России, сравнительно быстро перемалывал традиционные сословно-профессиональные и территориальные структуры, не рассчитанные на такое количество людей[25]. Сотнями выпадавшие из своих дворянских и прочих социальных «гнезд» «лишние люди» всех сословий в буквальном смысле не находили себе места в жизни. Ни отцовское дело, ни государева служба не могли уже обеспечить будущее таких «профессиональных» разночинцев.

На этом фоне попытки немедленной отмены крепостного права, да еще без решения проблемы размежевания крестьянских и помещичьих земель, без подготовки бюрократических кадров, способных квалифицированно осуществить такое размежевание, могли неожиданно обернуться формой социального геноцида крестьянства, подобного коллективизации или английским огораживаниям XVI–XVII веков. Проекты радикальной группы П.И. Пестеля предусматривали генеральное размежевание всех частных и государственных земель, но их осуществление потребовало бы от любого правительства серьезных репрессий в отношении тысяч крупных землевладельцев. В принципе, любая земельная реформа на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры отрицательно сказалась бы на сельском хозяйстве страны, и без того пребывавшем в упадке.

А ведь на повестке дня стояли и другие важнейшие и неотложные задачи внутренней и внешней политики. Только в период с 1826 по 1833 годы николаевское самодержавие, хотя и с большими потерями, выиграло не только русско-персидскую (1826–1828) и русско-турецкую (1827–1829) войны, но и подавило польское вооруженное восстание (1830–1831), временно усмирило сепаратистов Кавказа (движение Кази-Мухаммеда и националистический заговор в Грузии) и надолго восстановило разрушенную систему коллективной безопасности в Европе (Мюнхенское и Берлинское соглашения, 1833) и на Ближнем Востоке (Ункяр-Ескелесийский договор, 1833).

В такой же кризисной обстановке (рост числа нелегальных антиправительственных организаций; непрекращающиеся крестьянские восстания; холерные бунты 1830 году в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбове, Севастополе; восстания в военных поселениях 1831 года и т.п.) правительство Николая I было вынуждено обулаивать и внутренние дела. Создание первой в истории России комплексной службы

государственной безопасности (III отделение Его императорского величества канцелярии и корпус жандармов); упорядочивание законодательства и налаживание систематической законопроектной работы (II отделение ЕИВ канцелярии и Государственный Совет); подбор, расстановка, учет и контроль деятельности кадров правительственного аппарата (I отделение ЕИВ канцелярии); устройство правильного документооборота и регулярной отчетности – все эти решаемые ускоренным порядком задачи встали бы перед любой командой, претендовавшей на удержание власти в России второй половины 1820-х годов.

«Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унижительную продажу людей, воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванью – словом, исправить неисчисленные беспорядки и злоупотребления»[26] – утверждали участники восстания декабристов в ходе составления известного Свода показаний под редакцией делопроизводителя следственной комиссии Боровкова.

Но каким образом, а самое главное – какой ценой могли бы осуществиться все эти пожелания на фоне уже описанного экономического кризиса, в преддверии военных конфликтов и внутренних беспорядков, а также неизбежной в случае победы восставших борьбы между ними и другими общественными группами[27], также претендующими на власть? И самое главное, к чему бы могла привести социальная революция в России на фоне столь неблагоприятной для нее глобальной социально-экономической конъюнктуры?

Усугублять и без того нестабильную обстановку немедленным проведением каких-либо либеральных реформ было бы просто безответственно. Те же декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь с лозунгом «Конституция!», заранее признавали, что в рамках переходного (то есть кризисного) периода им придется прибегнуть к управлению с помощью диктатуры. Вопрос о продолжительности и степени жесткости такой диктатуры дискутировался до самого последнего момента, но полностью избежать ее не предполагал никто[28]. Однако на Сенатской площади в среде декабристов обнаружился серьезный недостаток волевого организующего начала, являющегося основой всякого устойчивого режима.

Поэтому важно отметить, что в кризисе накануне 1826 года оказалась не только официальная Россия, не только самодержавие, по мнению заговорщиков, «представлявшее собой нестройную громаду»[29], но и оппозиция, сначала призывавшая эту «громаду» переустроить, а затем собравшаяся ее опрокинуть. Движение декабристов как антикризисная сила, по существу, оказалось еще более неудачливой, еще более внутренне противоречивой и непрочной командой, чем та государственная система, которую восставшие претендовали заменить. Ход событий 14 декабря в Санкт-Петербурге наглядно демонстрирует, что с ослабевшим и дезорганизованным аппаратом александровского самодержавия боролись, в сущности, порожденные им самим, столь же слабые и дезорганизованные противники.

В итоге выступление декабристов вызвало укрепление и ужесточение именно той силы, которую они собирались уничтожить. Самодержавие проявило себя как власть, не только традиционно поддерживающая, но и активно наводящая общий порядок, укрепляющая его как чрезвычайными полицейскими акциями, так и новыми политическими институтами. Переживавшее кризис общество в этот момент вряд ли осознало, что получило именно тот стройный военно-полицейский, чрезвычайный порядок управления, о котором оно «мечтало» в последние годы непредсказуемого правления Александра I. Только установили этот порядок не победившие «освободители»-заговорщики, а

«реакция», то есть правительство Николая I и лично император. Те же, кто претендовал на руководство обновленным государственным (и в том числе репрессивным) аппаратом, стали его первыми жертвами.

Любопытно, что самодержавие вскоре после восстания без лишней огласки фактически инициировало процесс передачи значительной части своих властных полномочий как реформированным, так вновь сформированным государственным органам, исполнявшим главным образом надзорные и карательные функции. Так что и в этой области намерения части заговорщиков, как это ни парадоксально звучит, сбылись. Что было решительно отвергнуто Николаем I, так это немедленные и резкие социальные преобразования, а также конституционно-парламентский путь создания законов и организации управления[30]. Разумеется, разбуженная и напуганная в конце 1825 года правящая элита Российской империи спасала не только «старый порядок», но и саму себя, но, надо признать, она имела для этого все основания.

Разносторонние и разноплановые угрозы существующему социально-политическому порядку России второй четверти XIX века не могли не мобилизовать самодержавие как высшую государственную власть на защиту этого порядка. Важно понимать, однако, что сколько-нибудь прочное установление и развитие в этот период какого-либо нового, «революционного» порядка потребовало бы от революционного правительства куда больших мобилизационных усилий. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться», – много лет спустя писал В.И. Ленин. Подобным образом, вероятно, можно оценить и всякую деятельную контрреволюцию или «реакцию». Что же касается методов защиты порядка, выбирать их почти никогда не приходилось ни революционерам, ни их противникам. Чем тяжелее была кризисная ситуация, чем более угрожающим для России казалось ее дальнейшее углубление, тем более резкие и жесткие, часто даже кровавые меры вынуждены были предпринимать как высшие, так и местные власти, какой бы идеологией они ни руководствовались.

Оценивая на этом основании «репрессивную и охранительную» политику николаевского самодержавия, стоит еще раз вспомнить, что основной задачей правящих элит большинства стран мира (кроме Англии и вновь созданных США) в тот период было не столько развитие новых типов социального устройства и социальных отношений, сколько сохранение имевшихся в наличии. С точки зрения теории общественного прогресса, такую политику можно называть «недальновидной» или «бесперспективной», но ее следует охарактеризовать, прежде всего, как разумную. Ведь прежде чем развиваться и совершенствоваться, любому общественному организму для начала надо выжить. Именно конкретные обстоятельства его выживания и брошенные ему вызовы, а вовсе не установленные кем-то «объективные законы» или чьи-то благие пожелания и будут в этом случае определять приоритеты как политического, так и социально-экономического развития государства.